

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Оpozнание младенца	24
Глава 2. Ричард Львиное Сердце	42
Глава 3. Мой неродной дядя Витя и бабочки	73
Глава 4. Полет валькирий	82
Глава 5. Коля Гублия легкокрылый	93
Глава 6. Слепки больной природы	109
Глава 7. Почему на Ван Вэя не садились птицы	124
Глава 8. Слепец и поводырь	153
Глава 9. Матрац летчика	176
Глава 10. Улыбка Фредерика	194
Глава 11. «Бесаме мучо!..»	230
Глава 12. Восемь даосских драгоценностей	261
Глава 13. Шокотерапевт Гусев	290
Глава 14. Мертвый корабль	320

*Пока живешь, будь мертвым,
совершенно мертвым,
а затем поступай как хочешь,
потому что тогда все в порядке.*

Ле-цзы

Меня зовут Люся Мишадоттер. По паспорту я русская, хотя все мои родственнички — это какая-то адская смесь из индустанцев, удмуртов, кхмеров, каракалпаков, ненцев, коряков, маньчжуров, германошвейцарцев, парсов, белорусов, юкагиров, один каким-то шальным образом в эту компанию затесался гваделупец, — зато на редкость богато представлен маленький северный народ ыйе и евреи Израиля.

Причем все борются за то, чтоб я принадлежала именно к их ничем, собственно говоря, не выдающейся нации.

Я же считаю себя исключительно потомком гордых викингов. Отсюда это имя — Мишадоттер, что означает «дочь Миши». Это мой литературный псевдоним.

Ни для кого не секрет, что я стану великой писательницей. Я напишу роман, какой никто никогда не писал, да и не мог написать. Я напишу книгу о своей жизни.

Мне только все некогда засесть. Жизнь меня страшно увлекает, вот в чем беда. Лишь когда судьба начинает катиться под откос или небо разверзается над моей головой, я иду к письменному столу, разгребаю завалы, мочу тряпочку, тщательно вытираю пыль со стола, включаю

обогреватель, сажусь и на чистом листе бумаги, трепеща, большими печатными буквами вывожу синей шариковой ручкой:

«УТОПЛЕННИК»

А внизу помельче:

роман

Потом идет эпиграф:

*«И лишь когда он утонул, лицо его приобрело
спокойное и дружелюбное выражение...»*

Из подслушанного разговора

Катастроф у меня, слава богу, навалом. Неслыханные потрясения, чудовищные неудачи, сокрушительные несчастья, новые и новые аварии то и дело обрушиваются на меня. Другой великий писатель на моем месте был бы раздавлен жизнью, впал в черную меланхолию и на этой почве давно бы разразился «Утопленником» да еще создал одноименную пьесу для радиопостановки.

Я же, бедолага, все время вырливаю. Минуту назад кругом расстилалась выжженная пустыня и громоздились голые бесплодные скалы, ни тени любви, ни намека, телефон молчит, нигде никакого интересного мероприятия, на улице минус двадцать градусов: либо иди вешайся, либо садись пиши книгу.

Это великий миг, когда мир — так мне кажется — смотрит на меня с надеждой. Доктор Фауст бы ахнул, сам Вольфганг Гёте закачался бы, узнай, к какому мгновенью обращаюсь я с мольбой оставаться.

Но именно в этот момент, практически полностью в безвоздушном пространстве, на пике тоски жизнь снова начинает подавать признаки жизни, и вот я уже затылком, каждым своим позвонком чувствую ее дыхание, ее сердцебиение, ее кровообращение... Какой идиот станет в этом случае безвылазно сидеть дома, а не жить, жить и еще раз жить на полную катушку?!

Так я сидела однажды за письменным столом, уставившись в окно, — там пара ворон одиноко парила в небе. Я мирно ждала, когда меня осенит первая фраза. Ни в коем случае нельзя недооценивать ее значение, когда пишешь роман. Это как вдох, как первый крик ребенка. Если тебе удалось начать — расслабься и радуйся, Бог довершит остальное. Но уж начать-то, черт побери, начни!

А то я тут еду в метро, подходит ко мне человек — очень гладко выбритый — и говорит:

— Вы не поможете мне кончить?

— А вы уже начали? — спросила я его, сдвинув брови.

Он посмотрел на меня как будто я чокнутая. И всю дорогу делал вид, что между нами не произошло столь жизненно важного философского разговора.

А впрочем, было бы неплохо, если бы и Бог тоже начал. Чтоб самому вообще не делать никаких усилий. В общем, мысли у меня были заняты тем, что я опубликую эту вещь в журнале «Дружба народов», поскольку в ней зашумит листвой мое исполинское генеалогическое древо — иными словами, всюду будет тусоваться моя непутевая, честолюбивая, свихнувшаяся на своих национальных распрях

и религиозных предрассудках родня, включая, разумеется, абхаза Колю Гублию, хоть он мне седьмая вода на киселе, — вечно бухого, с завидным здоровьем, живущего по непонятным никому причинам под солнечным небом Гваделупы.

Естественно, мой роман выдвинут на премию Букера и переведут на все языки мира, в том числе на язык маленького народца ыйе! Я стану страшно знаменита. Газеты мира будут перебивать мне кости, раздувать слухи о моих любовных приключениях, я стану секс-символом Европы. Даже мой муж Левик, может быть, обратит на меня внимание. Впрочем, на Букера он вряд ли обратит, если только на двух Букеров и одного Нобеля... Ведь он такой у меня, всецело сосредоточенный на достижениях в области культуры.

Левик — фотокор. Он фотографирует знаменитостей. Только великие деятели искусств, сокровища всех времен и народов могут надеяться на то, что Левик станет с ними возиться. Диззи Гиллеспи своей лучшей фотографией обязан Левику. Без всякого «рыбьего глаза» Левик снял Диззи с такими надутыми щеками, пылающими глазами и раскаленной трубой — никто не верит, что там вообще изображено человеческое существо.

— В наше время сисек и пиписек, — жалуется Левик, — я как фотограф-поэт терплю фиаско. Я покажу одно ухо человека, а перед тобой — вся его судьба. Руки какие на моих фотографиях выразительные! А глаза?! Взгляни в глаза моего Гиллеспи! Кому нужен его старый натруженный член?!

Не знаю, мне кажется, в таком негритосе, как
8 Диззи Гиллеспи, все прекрасно, а Левик — хан-

жа. Одно появление Диззи в яркой гавайской рубашке, с пузцом — в руках футляр с трубой, блаженная улыбка — производило фурор. Последнее время он мало играл на трубе. Просто выходил на сцену с другими музыкантами. Он просто выходил, смотрел и улыбался. И все тащились от его присутствия.

А то, что Левик делит жизнь на прекрасное и безобразное, душит его как творческую личность и не дает стать гением. Я иногда думаю: если бы он осмелился подарить миру фотографию «член Диззи Гиллеспи» — да, старый член лучезарного Диззи — в памяти человечества Левик остался бы великим фотографом.

Я Левика, бедолагу, совсем не интересую ни под каким соусом. Даже в наши лучшие времена, когда мы с ним только что познакомились и он ухаживал за мной как бешеный, Левик не сфотографировал меня ни разу.

— Пойми, — объяснял он, — это моя работа, а не хобби.

Иной раз доходит до абсурда. Еду я в метро, ко мне подходит человек — вполне цивилизный, в дорогой косухе, не пьяный, вытаскивает пачку денег и говорит:

— Вы фотографируете за деньги?

Я отвечаю:

— Фотографируюсь.

— Как? — спрашивает он.

— Как-как? — говорю я. — Иду в фотоателье, плачу деньги и фотографируюсь: на паспорт, на партбилет или на пропуск на завод.

Левик очень злится, когда я вступаю в контакты с незнакомыми людьми на улице или в транспорте. Он говорит, что снаружи я чистоплюй, а в подкорке у меня заложена ужасная тоска по отбросам общества. Левик постоянно игнорирует тот факт, что я романист и нуждаюсь в бездне впечатлений.

Я просто вынуждена целыми днями слоняться по городу! Ибо то, что мы с Левиком считаем местом своего обитания, — это полностью позабытый богом район. К нам приехал родственник из Йошкар-Олы, дядя Теодор, — у него был инсульт, он уже пять лет вообще не разговаривает: двигательная функция дяди-Теодорина сохранилась, а речевая атрофировалась. Так вот этот дядя Теодор вошел к нам в подъезд и сказал:

— Грязно.

И с тех пор снова больше ничего не говорит.

Что я могу к этому прибавить?

Все такое тут не мое: и дома, и асфальт, и машины. У меня здесь совсем нет знакомых, я почти ни с кем не здороваюсь и не могу причислить себя ни к одной категории людей: ни к детям, ни к старикам, ни к женщинам.

Даже небо тут кажется не моим, хотя небо-то уж я всегда и везде рассматриваю как личную ответственность.

Пожалуй, я заслуживаю иного вида из окна — хотя бы на речку Сену и пароходики в огнях, я уж не говорю про тонущий в тумане Нотр-Дам. А на крыше у меня должны бы цвести подсолнухи. Именно подсолнухи — вы слышите или нет?! Потому что я этого заслуживаю! Всецелой своей самоотверженной жизнью, а также прошлыми рожденьями заслужи-

ваю ранним утром или после полудня и в сумерках сидеть на крыше в соломенном кресле с яблочным пирожком и чашечкой кофе. Воздух теплый, из кафе напротив доносятся музыка, смех, доброжелательные разговоры...

А не дрель, молоток и пила моего соседа сверху, который истощными воплями уморил свою старенькую маму и теперь над моей головой уже не первый год в любое время суток пытается раздолбать несущую стену.

Плюс, конечно, картина из моего окна! Как мне пришлось над собой поработать, чтобы полюбить ее всей душой. Но и тут тоже — даже тут! — в сером снежном безжизненном пейзаже вполне можно наблюдать непредсказуемость жизни.

Как-то раз к нам во двор влетела громадная стая птиц. Великое скопление. Они появились в отдалении, испуская крыльями шум, напоминавший завывание вьюги, а когда приблизились, в окне загудели стекла.

Птицы прибывали неисчислимыми полчищами, воздух был буквально полон ими, солнце — совершенно затемнено, как при затмении. Птицы металась между небом и землей, распространяя нежные дрожащие трели, как будто стонали или смеялись. Полет их отличался самыми затейливыми изворотами. Явно перелетные птицы, не оседлые.

Люди на улице останавливались и задирали головы. Во дворе старушка гуляла с таксой. Я часто их вижу, обе такие крошки. Такса таскает старушку на поводке, словно какой-нибудь сенбернар. А у старушки всегда маленькая сумочка под мыш-

кой. И мне всякий раз любопытно: что у нее в этой сумочке?

Я помню, с подобными сумочками по берегу Черного и Балтийского морей поздней осенью и ранней весной бродили тетки из прибрежных санаториев.

Однажды я спросила у Левика: что у них там, интересно, в этих сумочках?

Левик ответил:

— Ракушки, дура, и бутылочные стеклышки, обкатанные волной.

— А кто ракушки делает, а, Левик? — спросил наш мальчик.

— Специальные люди, — ответил Левик, — из курортного управления. Делают и разбрасывают по берегу моря.

Птицы собирались часами, в несколько рядов покрывая карнизы и телевизионные антенны. И вдруг снялись все разом и спикировали на деревья. Не виданные мною птицы, крупнее воробья, аспидно-синие, с черным хохолком, острыми крыльями, тонким клювом, а вдоль крыльев — яркая голубая полоса.

Что с ними приключилось? Сбились ли с пути? Летели-летели, а впереди океан — слишком бескрайний для черных хохолков? Или неперелетаемые горы?

Но ведь их ведет Проводник — Дух Птиц. Это он собирает свои стаи осенью и побуждает двигаться на юг не слишком рано и не слишком поздно, чтоб избежать зимы и холодов. Он возвращает их весной, он указывает им высоту, на которой